

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Мария
ВОЛКОНСКАЯ

Записки



ImWerdenVerlag
München 2006

© Воспроизводится по: «Своей судьбой гордимся мы».
Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1973 г.
© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2006
<http://imwerden.de>

*Господь решит окованныя...
Господь возводит низверженные...*

Псалмы 145, 144

Миша мой, ты меня просишь записать рассказы, которыми я развлекала тебя и Нелли в дни вашего детства, словом — написать свои воспоминания. Но, прежде чем присвоить себе право писать, надо быть уверенным, что обладаешь даром повествования, я же его не имею; кроме того, описание нашей жизни в Сибири может иметь значение только для тебя, как сына изгнания; для тебя я и буду писать, для твоей сестры и для Сережи с условием, чтобы эти воспоминания не сообщались никому, кроме твоих детей, когда они у тебя будут, они прижмутся к тебе, широко раскрывая глаза при рассказах о наших лишениях и страданиях, с которыми, однако же, мы свыклись настолько, что сумели быть и веселы и даже счастливы в изгнании. Я здесь сокращу то, что так вас забавляло, когда вы были детьми: рассказы о счастли-вом времени, проведенном мною под родительским кровом, о моих путешествиях, о моей доле радостей и удовольствий на этом свете. Скажу только, что я вышла замуж в 1825 году за князя Сергея Григорьевича Волконского, вашего отца, достойнейшего и благороднейшего из людей; мои родители думали, что обеспечили мне блестящую по светским воззрениям, будущность. Мне было грустно с ними расставаться: словно сквозь подвенечный вуаль, мне смутно виднелась ожидавшая нас судьба. Вскоре после свадьбы я заболела, и меня отправили вместе с матерью, с сестрой Софьей и моей англичанкой в Одессу на морские купания. Сергей не мог нас сопровождать, так как должен был по служебным обязанностям остаться при своей дивизии. До свадьбы я его почти не знала. Я пробыла в Одессе все лето и, таким образом, провела с ним только три месяца в первый год нашего супружества; я не имела понятия о существовании тайного общества, которого он был членом. Он был старше меня лет на двадцать и потому не мог иметь ко мне доверия в столь важном деле.

Он приехал за мной к концу осени, отвез меня в Умань, где стояла его дивизия, и уехал в Тульчин — главную квартиру второй армии. Через неделю он вернулся среди ночи; он меня будит, зовет: «Вставай скорей»; я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чем дело? «Постель арестован». — «За что?» Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила. Я видела, что он был грустен, озабочен. Наконец, он мне объявил, что обещал моему отцу отвезти меня к нему в деревню на время родов, — и вот мы отправились. Он меня сдал на попечение моей матери и немедленно уехал; тотчас по возвращении он был арестован и отправлен в Петербург. Так прошел первый год нашего супружества; он был еще на исходе, когда Сергей сидел под затворами крепости в Алексеевском рavelине.

Роды были очень тяжелы, без повивальной бабки (она приехала только на другой день). Отец требовал, чтобы я сидела в кресле, мать, как опытная мать семейства, хотела, чтобы я легла в постель во избежание простуды, и вот начинается спор, а я страдаю; наконец, воля мужчины, как всегда, взяла верх; меня поместили в боль-

шом кресле, в котором я жестко промучилась без всякой медицинской помощи. Наш доктор был в отсутствии, находясь при больном в 15 верстах от нас; пришла какая-то крестьянка из нашей деревни, выдававшая себя за бабу, но не смела ко мне подойти и, став на колени в углу комнаты, молилась за меня. Наконец к утру приехал доктор, и я родила своего маленького Николая, с которым впоследствии мне было суждено расстаться навсегда *. У меня хватило сил дойти босиком до постели, которая не была согрета и показалась мне холодной, как лед; меня сейчас же бросило в сильный жар, и сделалось воспаление мозга, которое продержало меня в постели в продолжение двух месяцев. Когда я приходила в себя, я спрашивала о муже; мне отвечали, что он в Молдавии, между тем как он был уже в заключении и проходил через все нравственные пытки допросов. Сначала его привели, как приводили и всех остальных, к императору Николаю, который накинулся на него, грозя пальцем и браня его за то, что он не хотел выдать ни одного из своих товарищей. Позже, когда он продолжал упорствовать в этом молчании перед следователями, Чернышев, военный министр, сказал ему: «Стыдитесь, князь, прапорщики больше вас показывают». Впрочем, все заговорщики были уже известны: предатели Шервуд, Майборода и... выдали список имен всех членов Тайного общества, вследствие чего и начались аресты. Я не дерзну излагать историю событий этого времени: они слишком еще к нам близки и для меня недостижимы; это сделают другие, а суд над этим порывом чистого и бескорыстного патриотизма произнесет потомство. До сих пор история России представляла примеры лишь дворцовых заговоров, участники которых находили в том личную для себя пользу.

Наконец, однажды, собравшись с мыслями, я сказала себе: «Это отсутствие мужа неестественно, так как писем от него я не получаю», и я стала настоятельно требовать, чтобы мне сказали правду. Мне отвечали, что Сергей арестован, равно как и В. Давыдов, Лихарев и Поджио. Я объявила матери, что уезжаю в Петербург, где уже находился мой отец. На следующее утро все было готово к отъезду; когда пришлось вставать, я вдруг почувствовала сильную боль в ноге. Посылаю за женщиной, которая тогда так усердно молилась на меня Богу; она объявляет, что это рожа, обвертывает мне ногу в красное сукно с мелом, и я пускаюсь в путь со своей доброй сестрой и ребенком, которого по дороге оставляю у графини Браницкой, тетки моего отца: у нее были хорошие врачи; она жила богатой и влиятельной помещицей.

Был апрель месяц и полная распутица. Я путешествовала день и ночь и приехала, наконец, к своей свекрови. Это была в полном смысле слова придворная дама. Некому было дать мне доброго совета: брат Александр, предвидевший исход дела, и отец, его опасавшийся, меня окончательно обошли. Александр действовал так ловко, что я все поняла лишь гораздо позже, уже в Сибири, где узнала от своих подруг, что они постоянно находили мою дверь запертою, когда ко мне приезжали. Он боялся их влияния на меня; а несмотря, однако, на его предосторожности, я первая с Каташей Трубецкой приехала в Нерчинские рудники.

Я была еще очень больна и чрезвычайно слаба. Я выпросила разрешение навестить мужа в крепости. Государь, который пользовался всяким случаем, чтобы высказать свое великодушие (в вопросах второстепенных), и которому было известно слабое состояние моего здоровья, приказал, чтобы меня сопровождал врач, боясь за меня всякого потрясения. Граф Алексей Орлов сам повез меня в крепость. Когда мы приближались к этой грязной тюрьме, я подняла глаза и, пока открывали ворота, увидела помещение над въездом с настезь открытыми окнами и Михаила Орлова в халате, с трубкой в руках, наблюдающего с улыбкой за въезжающими.

Мы вошли к коменданту; сейчас же привели под стражей моего мужа. Это свидание при посторонних было очень тягостно. Мы старались ободрить друг друга, но делали это без убеждения. Я не смела его расспрашивать все взоры были обращены

* Сын Николай родился 2-го января 1826 г., умер в феврале 1828 г. — *Прим. ред.*

на нас; мы обменялись платками. Вернувшись домой, я поспешила узнать, что он мне передал, но нашла лишь несколько слов утешения, написанных на одном углу платка, и которые едва можно было разобрать.

Свекровь расспрашивала меня о своем сыне, говоря при этом, что не может решиться съездить к нему, так как это свидание убило бы ее, — и уехала на другой день со вдовствующей императрицей в Москву, где уже начались приготовления к коронации. Моя золовка, Софья Волконская, должна была приехать в скором времени; она сопровождала тело покойной императрицы Елизаветы Алексеевны, которую везли в Петербург. Я нетерпеливо желала познакомиться с этой сестрой, которую муж мой обожал. Я много ожидала от ее приезда. Мой брат смотрел на дело иначе; он стал внушать мне опасения относительно моего ребенка, уверяя меня в том, что следствие продлится долго (что, впрочем, было и справедливо), что я должна бы лично удостоверить в уходе за моим дорогим ребенком и что я, наверное, встречу с княгиней в дороге. Не подозревая ничего, я решила ехать с мыслью привезти сюда сына. Я направилась на Москву, чтобы повидать сестру Орлову. Моя свекровь была уже там в качестве обергофмейстерины. Она мне сказала, что ее величеству угодно меня видеть и что она принимает во мне большое участие. Я думала, что императрица хочет со мной говорить о моем муже, ибо в столь важных обстоятельствах я понимала участие к себе, лишь поскольку оно касалось моего мужа; вместо того со мной беседуют о моем здоровье, о здоровье отца, о погоде...

Вслед за тем я немедленно выехала. Брат устроил так, чтобы я разъехалась с золовкой, которая, будучи в курсе всего, могла бы меня посвятить в направление, принятое делом. Я нашла своего ребенка бледным и хилым; ему привили оспу, он заболел. Я не получала никаких известий; мне передавались только самые бессодержательные письма, остальные уничтожались. Я с нетерпением ждала минуты своего отъезда; наконец брат приносит мне газеты и объявляет, что мой муж приговорен. Его разжаловали одновременно с товарищами на гласисе крепости. Вот как это произошло: 13 июля, на заре, их всех собрали и разместили по категориям на гласисе против пяти виселиц. Сергей, как только пришел, снял с себя военный сюртук и бросил его в костер: он не хотел, чтобы его сорвали с него. Было разложено и зажжено несколько костров для уничтожения мундиров и орденов приговоренных; затем им всем приказали стать на колени, причем жандармы подходили и переламывали саблю над головой каждого в знак разжалования; делалось это неловко: несколькими из них поранили голову. По возвращении в тюрьму они стали получать не обыденную пищу свою, а положение каторжников; также получили и их одежду — куртку и штаны грубого серого сукна.

За этой сценой последовала другая, гораздо более тяжелая. Привели пятерых приговоренных к смертной казни. Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Бестужев-Рюмин (Михаил) и Каховский были повешены, но с такой ужасной неловкостью, что трое из них сорвались, и их снова ввели на эшафот. Сергей Муравьев не захотел, чтобы его поддерживали. Рылеев, которому возвратилась возможность говорить, сказал: «Я счастлив, что дважды за отечество умираю». Их тела были положены в два больших ящика, наполненных негашенной известью, и погребены на Голодаевом острове. Часовой не допускал до могил. Я не могу останавливаться на этой сцене: она меня расстраивает, мне больно ее вспоминать. Не берусь ее подробно описывать. Генерал Чернышев (впоследствии граф и князь) гарцевал вокруг виселиц, глядя на жертвы в лорнет и посмеиваясь.

Моего мужа лишили титула, состояния и гражданских прав и приговорили к двенадцатилетним каторжным работам и к пожизненной ссылке. 26 июля его отправили в Сибирь с князьями Трубецким и Оболенским, Давыдовым, Артамоном Муравьевым, братьями Борисовыми и Якубовичем. Когда я узнала об этом от брата, я ему объявила, что последую за мужем. Брат, который должен был ехать в Одессу, сказал

мне, чтоб я не трогалась с места до его возвращения, но на другой же день после его отъезда я взяла паспорт и уехала в Петербург. В семье мужа на меня сердились за то, что я не отвечала на их письма. Не могла же я им сказать, что мой брат их перехватывал. Мне говорили колкости, а о деньгах ни слова. Не могла я также говорить с ними о том, что мне приходилось переносить от отца, который не хотел отпускать меня. Я заложила свои бриллианты, заплатила некоторые долги мужа и написала письмо государю, прося разрешения следовать за мужем. Я особенно опиралась на участие, которое его величество оказывал к женам сосланных, и просила его завершить свои милости разрешением мне отъезда. Вот его ответ:

«Я получил, Княгиня, ваше письмо от 15 числа сего месяца; я прочел в нем с удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в вас принимаю; но во имя этого участия к вам и я считаю себя обязанным еще раз повторить здесь предостережения, мною уже вам высказанные относительно того, что вас ожидает, лишь только вы проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению.

1826. 21 декабря
Благорасположенный к вам
(подпись) *Николай*».

Теперь я должна рассказать вам сцену, которую я буду помнить до последнего своего издыхания. Мой отец был все это время мрачен и недоступен. Необходимо было, однако же, ему сказать, что я его покидаю и назначаю его опекуном своего бедного ребенка, которого мне не позволяли взять с собою. Я показала ему письмо его величества; тогда мой бедный отец, не владея собою, поднял кулаки над моей головой и вскричал: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься». Я ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушку.

Мой отец, этот герой 1812 года, с твердым и возвышенным характером, — этот патриот, который при Дашковке, видя, что войска его поколебались, схватил двоих своих сыновей, еще отроков, и бросился с ними в огонь неприятеля, — нежно любил свою семью; он не мог вынести мысли о моем изгнании, мой отъезд представлялся ему чем-то ужасным.

Мой шурин, князь Петр Волконский, министр Двора, заехал за мной, чтобы взести к себе обедать, и дорогой спросил: «Уверены ли вы в том, что вернетесь?» — «Я и не желаю возвращаться, разве лишь с Сергеем, но, Бога ради, не говорите этого моему отцу». Позже мне припомнились эти слова, и я поняла смысл отеческих предостережений, заключавшихся в письме его величества. В ту же ночь я выехала; с отцом мы расстались молча, он меня благословил и отвернулся, не будучи в силах выговорить ни слова. Я смотрела на него и говорила себе: «Все кончено, больше я его не увижу, я умерла для семьи». Я заехала обнять свекровь, которая велела мне вручить как раз столько денег, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска. У меня была куплена кибитка; я уложила в одну минуту, взяла с собою немного белья и три платья да ватопный капор, который надела. Остальные свои деньги я берегла для Сибири, зашив их в свое платье. Перед отъездом я стала на колени у люльки моего ребенка; я молилась долго. Весь этот вечер он провел около меня, играя печатью письма, которым мне разрешалось ехать и покинуть его навсегда. Его забавлял большой красный сургуч этой печати. Я поручила своего бедного малютку попечению свекрови и невесток и, с трудом оторвавшись от него, вышла.

В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей третьей невестки; она меня приняла с нежностью и добротой, которые остались мне памятны навсегда; окружила

меня вниманием и заботами, полная любви и сострадания ко мне. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, бывших тогда в Москве, и несколько талантливых девиц московского общества. Я была в восторге от чудного итальянского пения, а мысль, что я слышу его в последний раз, еще усиливала мой восторг. В дороге я простудилась и совершенно потеряла голос, а пели именно те вещи, которые я лучше всего знала; меня мучила невозможность принять участие в пении. Я говорила им: «Еще, еще, подумайте, ведь я больше никогда не услышу музыки». Тут был и Пушкин, наш великий поэт; я его давно знала; мой отец приютил его в то время, когда он был преследуем императором Александром I за стихотворения, считавшиеся революционными. Отец принял участие в бедном молодом человеке, одаренном таким громадным талантом, и взял его с собой, когда мы ездили на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно расшатано. Пушкин этого никогда не забыл; он был связан дружбою с моими братьями и ко всем вам питал чувство глубокой преданности.

В качестве поэта, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал. Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убежать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было тогда только 15 лет.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже, в «Бахчисарайском фонтане», он сказал:

...ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи.

В сущности, он любил лишь свою музу и облакал в поэзию все, что видел. Но во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить свое «Послание к узникам», для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александрине Муравьевой. Вот оно:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье;
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

* * *

Несчастью верная сестра —
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора!

* * *

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

* * *

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Ответ князя Одоевского, государственного преступника, приговоренного к каторжным работам:

Струн вещей пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.

* * *

Но будь спокоен, Бард, — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
Обет святой пребудет с нами.

* * *

Наш скорбный труд не пропадет;
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

* * *

Пушкин мне говорил: «Я намерен написать книгу о Пугачеве. Я поеду на место, перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках». Он написал свое великолепное сочинение, всеми восхваляемое, но до нас не доехал.

Сестра Орлова приехала в Москву проститься со мной. Ее муж, один из главных деятелей общества, проживал тогда спокойно в деревне: его спас брат его — граф Орлов как при помощи ответов, которые он помогал давать ему за запросы, присылаемые в тюрьму, так и в силу благосклонности, которую он пользовался у его величества. Я забросала сестру вопросами о деле, она отвечала уклончиво. Что меня больше всего мучило, это то, что я прочла в напечатанном приговоре, будто мой муж подделал фальшивую печать с целью вскрытия правительственных бумаг. Я просила сестру со слезами на глазах: «Ужели правда, что Сергей мог подделать печать?» Она мне ответила, что это вздор, и старалась меня успокоить, но ничего мне не объяснила; вероятно, она боялась, как бы я не стала об этом рассказывать до своего отъезда; но под конец созналась в том, что Сергей для того, чтобы спасти ее мужа, распечатал не казенную бумагу, а письмо, будучи к тому почти уполномоченным Киселевым, которому оно было адресовано. Вот как было дело: в 1822 году произошли беспорядки в 16-й дивизии, которою командовал Михаил Орлов; его окружающие были мало сдержанны в своих словах к ученикам школ, устроенных по методу Ланкастера, введенному в России Михаилом (Орловым). Все эти неосторожные и несвоевременные слова передавались унтер-офицерам и рядовым; они повели к нарушению порядка подчинения, о чем было доведено до императора Александра I, который приказал назначить следствие. Генерал Киселев, начальник штаба 2-й армии, был очень дружен с Михаилом и

Сергеем; будучи вынужден ехать за границу, по нездоровью своей жены, он сказал моему мужу: «Мне досадно, что я не могу остаться еще на несколько дней: я жду письма относительно дела Михаила, я бы его сообщил вам, дабы вы могла предупредить его о том, что делается». На другой же день это письмо было получено моим мужем, который его прочитал, запечатал первой попавшейся печатью и, таким образом, дал Михаилу возможность приготовить свои ответы. Такой поступок не только не предосудителен, но даже не представляет злоупотребления доверием, так как Киселев желал, чтобы это письмо было известно Орлову.

Но возвратимся к моему путешествию. Сестра, видя, что я уезжаю без шубы, испугалась за меня и, сняв со своих плеч салоп на меху, надела его на меня. Кроме того, она снабдила меня книгам, шерстями для рукоделья и рисунками. Я должна была провести два дня в Москве, так как не могла не повидать родственников наших сосланных; они мне принесли письма для них и столько посылок, что мне пришлось взять вторую кибитку, чтобы везти их. Я покидала Москву скрепя сердце, но не падая духом; со мной были только человек и горничная, которая «по паспорту ходила» и оказалась очень не надежной. Я ехала день и ночь, не останавливаясь и не обедая нигде; я просто пила чай там, где находила поставленный самовар; мне подавали в кибитку кусок хлеба, или что попало, или же стакан молока, и этим все ограничивалось. Однажды в лесу я обогнала цепь каторжников; они шли по пояс в снегу, так как зимний путь еще не был проложен; они производили отталкивающее впечатление своей грязью и нищетой. Я себя спрашивала: «Неужели Сергей такой же истощенный, обросший бородой и с нечесанными волосами?»

Я приехала в Казань вечером; был канун Нового года; меня высадили, не знаю почему, в гостинице; дворянское собрание было в том же дворе, залы его были ярко освещены, и я увидела входящие на бал маски. Я говорила себе: «Какая разница! здесь собираются танцевать и веселиться, а я еду в пропасть: для меня все кончено, нет больше ни песен, ни танцев». Это ребячество было простительно в моем возрасте: мне только что минул 21 год. Мои мысли были прерваны появлением чиновника военного губернатора; он меня предупреждал, что я лучше сделаю, если вернусь обратно, так как княгиня Трубецкая, которая проехала раньше, должна была остановиться в Иркутске (ее не пустили дальше), а вещи ее подвергли обыску. Я ответила, что все предосторожности мною приняты и что меня пропустят, так как у меня есть на то разрешение государя императора. Это мне напоминает, как сестра Орлова, чтобы помешать мне ехать, говорила: «Что ты делаешь? Твой муж, может быть, запыл, опустился!» — «Тем более мне надо ехать», — отвечала я. Я продолжала путь; погода была ужасная; хозяин гостиницы мне сказал, что было бы осторожнее обождать, потому что будет метель.

Я подумала, что не с тем еще мне придется бороться в Сибири, велела опустить рогожу с верха кибитки и поехала. Но я не знала степных метелей: снег накапливается на полости кибитки, между нами и ямщиком образовалась целая снежная гора. Я заставила прозвонить свои часы, они пробили полночь — мой Новый год, моя встреча Нового года! Я повернулась к своей горничной, чтобы пожелать ей хорошего года, не имея никого другого, кого поздравить; но она была так не в духе, я нашла ее выражение лица таким отталкивающим, что обратилась к ямщику: «С Новым годом тебя поздравляю!» И моя мысль перенеслась к моим родителям, к моей молодости, моему детству. Как этот день всегда у нас праздновался, сколько радостей, сколько удовольствий! А мой бедный Сергей, что с ним? Тяжелая действительность представилась мне во всей своей силе; я продолжала думать только о муже. Лошади стали; ямщик объявил, что мы сбились с дороги и что надо выйти и искать убежища. К счастью, неподалеку оказалось зимовье дровосека, мы вошли в него; я велела затопить печь, заварила чай для людей и дождалась утра, чтобы продолжать путь. Так ехала я в продолжении 15 дней, то пела, то говорила стихи, не встретив на пути ничего примечательного; я не

видела местности, через которую проезжала: холод стоял сильный, и кибитка была закрыта. Однажды вечером слуга сказала мне, что мы подъезжаем к станции; я приказала поднять рогожу и увидела большие костры, разложенные среди деревни; их подерживали, чтобы дать возможность толпе народа обогреться: женщины, дети, солдаты, крестьяне — все стояли вокруг огней. Я спросила: «Что это?» — «Это Серебрянка из Нерчинска». Я в восторге: получу известие о муже. Иду на почтовую станцию и для вида спрашиваю себе чаю. Входит офицер, провожающий Серебрянку; он не снимает фуражки и продолжает курить, выпуская клубы дыма от отвратительного табака; засаленный кисет с табаком висел у него на пуговице сюртука. Несмотря на его грубый вид, я у него спрашиваю, где находятся государственные преступники? Он взглянул на меня в упор и сказал, повернувшись спиной и уходя: «Я их не знаю и знать не хочу» (Это был некто Фитингоф, заключенный впоследствии в Соловецкий монастырь за безнравственную жизнь.) Тогда один из его солдат, стыдясь за своего начальника, подходит ко мне и говорит вполголоса: «Я их видел, они здоровы, они в Нерчинском округе, в Благодатском руднике». Этот добряк показал себя более человечным и вежливым, чем его начальник. Мое путешествие не имело больше никаких приключений, если не считать, что лошади меня понесли с самой высокой горы Алтая: я выпрыгнула в снег, не сделав себе ни малейшего вреда.

ИРКУТСК

Приехав в Иркутск, главный город Восточной Сибири, я нашла его красивым, местность чрезвычайно живописною, реку великолепною, хотя она и была покрыта льдом. Я пошла прежде всего в первую церковь, которая мне встретилась, чтобы отслужить благодарственный молебен; служивший священник оказался впоследствии настоятелем в нашей тюрьме. Моему удивлению и восторгу не было предела, когда я увидела клавикорды, которые моя милая Зинаида Волконская велела привязать сзади моей кибитки, тихонько от меня. Это внимание было тем более ценно, что в то время во всем Иркутске имелось лишь одно фортепьяно, которое принадлежало губернатору. Я села играть и петь и не чувствовала себя уже такой одинокой. Занимаемая мною квартира была именно та, из которой Каташа выехала в тот самый день в Забайкалье. Гражданский губернатор Цейдлер, старый немец, тотчас же приехал ко мне, чтобы наставлять меня и уговорить возвратиться в Россию. Это ему было приказано. Его величество не одобрял следования молодых жен за мужьями: этим возбуждалось слишком много участия к бедным сосланным. Так как последним было запрещено писать родственникам, то надеялись, что этих несчастных скоро забудут в России, между тем как нам, женам, невозможно было запретить писать и тем самым поддерживать родственные отношения.

Губернатор, видя мою решимость ехать, сказал мне: «Подумайте же, какие условия вы должны будете подписать». — «Я их подпишу, не читая». — «Я должен велеть обыскать все ваши вещи, вам запрещено иметь малейшие ценности». С этими словами он ушел и прислал ко мне целую ватагу чиновников. Им пришлось переписывать очень мало: немного белья, три платья, семейные портреты и дорожную аптечку; затем они открыли ящики с посылками. Я им сказала, что все это предназначается для моего мужа; тогда мне предъявили к подписи пресловутую записку, причем они мне сказали, чтобы я сохранила с нее копию, дабы хорошенько ее запомнить. Когда они вышли, мой человек, прочитавший ее, сказал мне со слезами на глазах: «Княгиня, что вы сделали, прочтите же, что они от вас требуют!» — «Мне все равно, уложимся скорее и поедem».

Вот эта подписка:

1

«Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, делается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе примет на себя переносить все, что состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного претсупника, несущего равную с ним участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания.

2

Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне.

3

Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для собственной безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления.

4

Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших».

Приведя в порядок вещи, разбросанные чиновниками, и приказав вновь все уложить, я вспомнила, что мне нужна подорожная. Губернатор после данной мне подписки не удостоивал меня своим посещением, приходилось мне ждать его в передней. Я пошла к нему, и мне выдали подорожную на имя казака, который должен был меня сопровождать, мое же имя заменялось словами «с будущим».

По возвращении домой я нашла у себя Александру Муравьеув (рожденную Чернышеву); она только что приехала; выехав несколькими часами ранее ее, я опередила ее на 8 дней. Мы напились чаю, то смеясь, то плача; был повод к тому и другому: нас окружали те же вызывающие смех чиновники, вернувшиеся для осмотра ее вещей. Я отправилась дальше настоящим курьером; я гордилась тем, что доехав до Иркутска лишь в 20 суток.

Я переехала Байкал ночью при жесточайшем морозе: слеза замерзала в глазу, дыхание казалось леденело. В Верхнеудинске, небольшом уездном городке, я не нашла снега; почва там такая песчаная, что вбирает в себя весь снег; то же самое происходит и в Кяхте, в нашем пограничном городе, — холод там ужасный, но нет санного пути. Я остановилась у полковника Александра Муравьева, сосланного, но без разжалования; его жена и невестки меня приняли с распростертыми объятиями; было уже поздно, и они заставили меня провести у них ночь; на другой день я взяла две перекладные, велела уложить в них вещи, оставила кибитки и отправилась далее.

Мысль ехать на перекладных меня очень забавляла, но моя радость прошла, когда я почувствовала, что меня трясет до боли в груди; я приказала останавливаться, чтобы передохнуть свободно. Это удовольствие я испытывала на протяжении 600 верст; при этом я голодала: меня не предупредили, что я ничего не найду на станциях, а они содержались бурятами, питавшимися только сырой, сушеной или соленой говядиной и кирпичным чаем с топленным жиром. Наконец, я приехала в Бянкино к местному богатому купцу, который был очень внимателен ко мне; он приготовил мне целый пир и оказывал мне величайшее почтение. Меня одолевал сон, я едва ему отвечала и заснула на диване. На другой день я приехал в Большой Нерчинский Завод — местопребывание начальника рудников. Здесь я догнала Каташу, уехавшую восе-

мью днями ранее. Свидание было для нас большой радостью; я была счастлива иметь подругу, с которой могла делиться мыслями; мы друг друга поддерживали; до сих пор моим исключительным обществом была моя отталкивающая от себя горничная. Я узнала, что мой муж находится в 12 верстах, в Благодатском руднике. Каташа, выдав вторую подписку, отправилась вперед, чтобы известить Сергея о моем приезде. По выполнении различных несносных формальностей, Бурнашев, начальник рудников, дал мне подписать бумагу, по которой я согласилась видеться с мужем только два раза в неделю в присутствии офицера и унтер-офицера, никогда не приносить ему ни вина, ни пива, никогда не выходить из деревни без разрешения заведующего тюрьмой и, — еще какие-то другие условия. И это после того, как я покинула своих родителей, своего ребенка, свою родину, после того, как проехала 6 тысяч верст и дала подписку, по которой отказывалась от всего и даже от защиты закона, — мне заявляют, что я и на защиту своего мужа не могу более рассчитывать. Итак, государственные преступники должны подчиняться всем строгостям закона, как простые каторжники, но не имеют права на семейную жизнь, даруемую величайшим преступникам и злодеям. Я видела, как последние возвращались к себе по окончании работ, занимались собственными делами, выходили из тюрьмы; лишь после вторичного преступления на них надевали кандалы и заключали в тюрьму, тогда как наши мужья были заключены и в кандалах со дня своего приезда. Бурнашев, пораженный моим оцепенением, предложил мне ехать в Благодатск на другой же день, рано утром, что я и сделала; он следовал за мной в своих санях.

БЛАГОДАТСКИЙ РУДНИК

Это была деревня, состоящая из одной улицы, окруженная горами, более или менее взрытыми раскопками, которые там производились для добывания свинца, содержащего в себе серебряную руду. Местоположение было бы красиво, если бы не вырубил, на 50 верст кругом, лесов из опасения, чтобы беглые каторжники в них не скрывались; даже кустарники были вырублены; зимою вид был унылый.

Тюрьма находилась у подножья высокой горы; это была прежняя казарма, тесная, грязная, отвратительная. Трое солдат и унтер-офицер содержали внутренний караул; они никогда не сменялись. Впоследствии поставили 12 казаков при унтер-офицере для наружного караула. Тюрьма состояла из двух комнат разделенных большими, холодными сенями. Одна из них была занята беглыми каторжниками; вновь пойманные, они содержались в кандалах. Другая комната была предназначена нашим государственным преступникам; входная ее часть занята с была солдатами и унтер-офицером, курившими отвратительный табак и нимало не заботившимися о чистоте помещения. Вдоль стен комнаты находились сделанные из досок некоторого рода конуры или клетки, назначенные для заключенных; надо было подняться на две ступени, чтобы войти в них. Отделение Сергея имело только три аршина в длину и два в ширину; оно было так низко, что в нем нельзя было стоять; он занимал его вместе с Трубецким и Оболенским. Последний, для кровати которого не было места, велел прикрепить для себя доски над кроватью Трубецкого. Таким образом, эти отделения являлись маленькими тюрьмами в стенах самой тюрьмы. Бурнашев предложил мне войти. В первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно; открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страдания. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени поцеловала его кандалы, а потом — его самого.

Бурнашев, стоявший на пороге, не имея возможности войти по недостатку места, был поражен изъявлением моего уважения и восторга к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обходился, как с каторжником.

Действительно, если даже смотреть на убеждения декабристов, как на безумие и политический бред, все же справедливость требует признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслуживать уважения соотечественников. Кто кладет голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял дело свое.

Я старалась казаться веселой. Зная, что мой дядя Давыдов находится за перегорожкой, я возвысила голос, чтобы он мог меня слышать, и сообщила известия о его жене и детях. По окончании свидания, я пошла устроиться в крестьянской избе, где поместилась Каташа; она была до того тесна, что, когда я ложилась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила, и ее нельзя было топить, когда на дворе бывало ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда.

По тюремным правилам, на работы ходили ежедневно, кроме воскресенья, от 5-ти часов утра до 11-ти: урочная работа была в три пуда руды на каждого.

Здесь кстати упомянуть, как правительство ошибается относительно нашего доброго русского народа. В Иркутске меня предупреждали, что я рискую подвергнуться оскорблениям или даже быть убитой в рудниках и что власти не будут в состоянии меня защитить, так как эти несчастные не боятся больше наказаний. Теперь я жила среди этих людей, принадлежащих к последнему разряду человечества, а между тем, мы видели с их стороны лишь знаки уважения; скажу больше: меня и Каташу они просто обожали и не иначе называли наших узников, как «наши князья», «наши господа», а когда работали вместе с ними в руднике, то предлагали исполнять за них урочную работу; они приносили им горячий картофель, испеченный в золе. Эти несчастные, по окончании срока каторжных работ, выдержав наказание за свои преступления, большею частью, исправлялись, начинали трудиться на себя, делались добрыми отцами семьи и даже брались за торговлю. Немного нашлось бы таких честных людей среди выходящих из острогов во Франции или понтонов в Англии.

На другой день по приезде в Благодатск я встала с рассветом и пошла по деревне, спрашивая о месте, где работает муж. Я увидела дверь, ведущую как бы в подвал для спуска под землю, и рядом с нею вооруженного сторожа. Мне сказали, что отсюда спускаются наши в рудник; я спросила, можно ли их увидеть на работе; этот добрый малый поспешил мне дать свечу, нечто вроде факела, и я, в сопровождении другого, старшего, решилась спуститься в этот темный лабиринт. Там было довольно тепло, но спертый воздух давил грудь; я шла быстро и услышала за собой голос, громко кричавший мне, чтобы я остановилась. Я поняла, что это был офицер, который не хотел мне позволить говорить с ссыльными. Я потушила факел и пустилась бежать вперед, так как видела в отдалении блестящие точки: это были они, работающие на небольшом возвышении. Они спустили мне лестницу, я влезла по ней, ее втащили, — и, таким образом, я могла повидать товарищей моего мужа, сообщить им известия из России и передать привезенные мною письма. Мужа тут не было, не было ни Оболенского, ни Якубовича, ни Трубецкого; я увидела Давыдова, обоих Борисовых и Артамона Муравьева. Они были в числе первых 8-ми, высланных из России и единственных, попавших в Нерчинские заводы. Между тем, внизу офицер терял терпение и продолжал меня звать; наконец, я спустилась; с тех пор было строго запрещено впускать нас в шахты. Артамон Муравьев назвал эту сцену «моим сошествием в ад».

Приезд наш принес много пользы заключенным. Не имея возможности писать, они были лишены известий о своих, а равно и всякой денежной помощи. Мы за них писали, и с той поры они стали получать письма и посылки. Между тем, у нас не хва-

тало денег; я привезла с собой всего 700 рублей ассигнациями; остальные же деньги находились в руках губернатора.

У Каташи не оставалось больше ничего. Мы ограничились своей пищей: суп и каша — вот наш обыденный стол; ужин отменили. Каташа, привыкшая к изысканной кухне отца, ела кусок черного хлеба и запивала его квасом. За таким ужином застал ее один из сторожей тюрьмы и передал об этом ее мужу. Мы имели обыкновение посылать обед нашим; надо было чинить их белье. Как сейчас вижу перед собой Каташу с поваренной книгой в руках, готовящую для них кушанья и подливы. Как только они узнали о нашем стесненном положении, они отказались от нашего обеда; тюремные солдаты, все добрые люди стали на них готовить. Это было весьма кстати, так как наши девушки стали очень упрямыми, не хотели ни в чем нам помогать и начали дурно себя вести, сходясь с тюремными унтер-офицерами и казаками. Начальство вмешалось и потребовало их удаления. Не могу передать, с какой грустью мы смотрели на их отъезд в Россию; заключенные стояли все у окон, провожали глазами их телегу; каждый за них думал: «Этот путь загражден для меня». Мы остались без горничных; я мела полы, прибирала комнату, причесывала Каташу, и, уверяю вас, что дело в нашем хозяйстве шло лучше.

Когда началась оттепель, я стала замечать, как несчастные бессемейные каторжники, жившие в общей казарме, садились часто у порога своей тюрьмы и глядели вдаль. Я спросила о причине, и мне сказали, что о приближении весны ими овладело неотразимое желание бежать и что они встречали радостно таяние снега: не имея ни шубы, ни сапог, они не могли зимою отважиться на побег, весною же большая часть их убегала; некоторые из них доходили до России; их никогда не выдавали, и они доживали там свой век.

Первое время наши прогулки с Каташею ограничивались деревенским кладбищем, и мы спрашивали друг друга: «Здесь ли нас похоронят?» Но эта мысль была до того безотраднa, что мы перестали ходить в эту сторону. Летом мы делали от 10 до 15 верст пешком. Нашим любимым препровождением времени было сидеть на камне против окна тюрьмы; оттуда я разговаривала с мужем и довольно громко, там как расстояние было значительное. Меня очень стесняло то, что я видеда, как выходили из тюрьмы несчастные, отправлявшeся за водой или за дровами; они были без рубашек или в одном необходимом белье. Я купила холста и заказала им белье. Наши деньги были сданы начальнику заводов; Каташа и я, мы были обязаны отправляться поочередно в Большой завод для предоставления отчета в наших ежедневных расходах. Я ездила в телеге со своим человеком, но прилично одетая и в соломенной шляпе с вуалью. Мы с Каташей всегда одевались опрятно, так как не следует никогда ни падать духом, ни распускаться, тем более в этом крае, где благодаря нашей одежде, нас узнавали издали и подходили к нам с почтением. Я возвращалась с купленной провизией, иногда сидя на куле муки; это не умаляло уважения ко мне, и народ всегда кланялся мне. Однажды, для разнообразия, я вздумала поехать туда верхом, взяла казачью лошадь, велела привязать к седлу еще рожок и поехала, веселая, в сопровождении своего человека, чтобы представить Бурнашеву свои счета. Он всегда прочитывал их со вниманием, а на этот раз рассердился не на шутку и сказал мне: «Вы не имеете права раздавать рубашки; вы можете облегчать нищету, раздавая по 5 или 10 копеек нищим, но не одевать людей, находящихся на иждивении правительства». — «В таком случае, милостивый государь, прикажите сами их одеть, так как я не привыкла видеть полуголых людей на улице». — «Ну, не сердитесь, сударыня; впрочем, вы откровенны, как дитя, я это предпочитаю, а ваша подруга всегда хитрит со мной». Своим простым здравым смыслом он понял это; у Каташи был очень тонкий ум. Я положила конец разговору, сказав, что должна ехать, так как не хочу, будучи верхом, запаздывать в город. «Как, вы верхом?» И он пошел за

мною. Он никогда не видел дамского седла и выразил мне свое удивление: тамошние женщины ездили всегда верхом по-мужски.

С тех пор я стала делать большие прогулки; я доставляла себе удовольствие въезжать в Китай, от границы которого мы находились, по прямому пути, только в 12 верстах. Жители Благодатска отправлялись ежегодно, в известные дни, на границу для обмена своих скромных произведений на кирпичный чай и на просо. Этот вид контрабанды существовал долго и был подспорьем для бедных людей, у которых не было бы чем уплатить таможенные пошлины.

Как я вам уже сказала, я только два раза в неделю ходила на свидание с мужем. В один из промежутков времени между этими свиданиями произошло событие, очень нас напугавшее и огорчившее. Господин Рик, горный офицер, которому был поручен надзор за тюрьмой, придумал усугубить тяготы заключенных: он потребовал, чтобы, тотчас по возвращении с работы, вместо того, чтобы вымыться и обедать вместе, они шли каждый в свое отделение и там ели, что будет подано. Кроме того, он из экономии перестал им давать свечи. Оставаться же без света с 3-х часов пополудни до 7 часов утра зимой, в какой-то клетке, где можно было задохнуться, было настоящей пыткой, при всем том, он запретил всякие разговоры из одного отделения в другое. Зная, до какой степени тюремщики боятся, чтобы вверенные им арестанты не покушались на свою жизнь, наши сговорились не принимать никакой пищи, чтобы напугать Рика. Целый день они ничего не ели; обед и ужин отослали нетронутыми; на второй день — та же история. Рик потерял голову, он немедленно послал доклад о том, будто государственные преступники в полном возмущении и хотят уморить себя голодом. Это было еще зимою, через несколько дней после моего приезда. Я ничего не подозревала, Каташа тоже. Велико было наше удивление, когда мы увидели, что приехал Бурнашев со своей свитой. Они остановились в избе, рядом с нашей; вокруг собрались местные жители. Я спросила у одной из женщин, что все это значило; она мне ответила: «Секретных судить будут». Я увидела мужа и Трубецкого, медленно подходивших под конвоем солдат. Каташа, легко терявшая голову, сказала мне, что у Сергея руки связаны за спиной; этого не было: я знала его привычку так ходить. Затем я вижу, что она подбегает к стоявшему там солдату горного ведомства; потом возвращается с довольным лицом и говорит мне: «Мы можем быть спокойны, ничего не случится, я сейчас спросила у солдата, *приготовили ли розги*, он мне сказал, что нет». — «Каташа, что вы сделали! Мы и допускать не должны подобной мысли». Мой муж приближался; я стала на колени на снегу, умоляя его не горячиться, он мне это обещал. Бурнашев (как я узнала позже) принял строгий и крутой вид, грозя им наказанием кнутом в случае возмущения, и, после длинной речи, позволил им объясниться. Сергей сказал ему, что никто и не думал о возмущении, но что господин Рик запирает их по возвращении с работы в отделениях без света, не позволяя им обедать вместе; отделения же эти были низки и темны, в них нельзя было даже выпрямиться. Я увидела мужа, шедшего обратно; он спокойно сказал мне: «Все вздор», и рассеял мою тревогу, уверяя, что все обойдется благополучно. Затем привели остальных; им было легко отвечать, так как Сергей предупредил о вопросах, которые им будут поставлены. Когда всех увели, мы с Каташей вошли к Бурнашеву, которого я прямо спросила о причине всего происшедшего. Он мне отвечал: «Ничего, ничего, мой офицер сделал из мухи слона». Все же было заметно, что он разделял боязнь Рика, так как приказал немедленно отпереть отделения, дозволил нашим проводить время к тюрьме, как они желают, и разрешил выдавать им свечи вечером. Вскоре после этого Рик был уволен и заменен господином Резановым, честным и достойным человеком в преклонных уже годах. Он приходил в тюрьму играть в шахматы и водил наших на прогулку, когда наступила теплая погода; прогулки эти длились по несколько часов; при этом братья Борисовы, страстные естествоиспытатели, собирали травы и составили коллекцию насекомых и бабочек.

Кроме нашей тюрьмы, была еще другая, в которой содержались бегавшие несколько раз и совершившие грабежи. Их кандалы были гораздо тяжелее и работы труднее. Между ними находился известный разбойник Орлов, герой своего рода. Он никогда не нападал на людей бедных, а только на купцов и, в особенности, на чиновников; он даже доставлял себе удовольствие некоторых из них высечь. У этого Орлова был чудный голос, он составил хор из своих товарищей по тюрьме, и, при заходе солнца, я слушала, как они пели с удивительной стройностью и выражением; одну песнь, полную глубокой грусти, они особенно часто повторяли: «Воля, воля дорогая». Пение было их единственным развлечением; скученные в тесной темной тюрьме, они выходили из нее только на работы. Я им помогала, насколько позволяли мои средства, и поощряла их пение, садясь у их грустного жилища. Однажды я вдруг узнаю, что Орлов бежал. Все поиски за ним остались тщетны. Гуляя как-то в направлении нашей тюрьмы, я увидела следовавшего за мною каторжника; это был когда-то бравый гусар; он мне сказал вполголоса: «Княгиня, Орлов меня посылает к вам, он скрывается на этих горах, в скалах над вашим домом; он уже давно там и просит вас прислать ему денег на шубу; ночи стали уже холодными». Я очень испугалась этого сообщения, а между тем, как оставить несчастного без помощи? Я вернулась домой и взяла 10 рублей; я заранее сказала бывшему гусару, чтобы он за мной не следовал, но заметил бы то место, где я во время прогулки нагнусь, чтобы положить деньги под камень. Он все исполнил, как я ему сказала, и тотчас же нашел их. Прошло две недели; я была одна в своей комнате; Каташа еще не возвратилась со свиданья с мужем; я пела за фортепьяно, было довольно темно; вдруг кто-то вошел, очень высокого роста, и стал на колени у порога. Я подошла — это был Орлов «в шубе», с двумя ножами за поясом. Он мне сказал: «Я опять к вам, дайте мне что-нибудь, мне нечем больше жить; Бог вернет вам, ваше сиятельство!» Я дала ему пять рублей, прося его скорее уйти. Каташа, по возвращении из тюрьмы, очень встревожилась от этого появления, да и было от чего, как вы увидите. Я легла поздно, все думая об этом разбойнике, которого могли схватить, и тогда Бурнашев не преминул бы повторить свои обычные слова: «Вы хотите поднять каторжников». Среди ночи я услышала выстрелы. Бужу Каташу, и мы посылаем в тюрьму за известиями. Там все спокойно; но вся деревня поднялась на ноги, и мне говорят, что беглых схватили на горе и всех арестовали, кроме Орлова, который бежал, вылезши сквозь трубу, или, вернее, сквозь дымовое отверстие. Несчастный, вместо того, чтобы купить себе хлеба, устроил попойку с товарищами, празднуя их побег. На другой день — наказанные плетью с целью узнать, от кого получены деньги на покупку водки; никто меня не назвал; гусар предпочел обвинить себя в краже, чем выдать меня, как он мне сказал впоследствии. Сколько чувства благодарности и преданности в этих людях, которых мне представляли, как извергов!

Настал Великий пост. Наши не могли добиться священника, и, так как в деревне не было церкви, мы с Каташей решили поехать в Большой завод, чтобы там говеть. Это заняло у нас четыре дня. Мы грустно провели праздники: единственным нашим развлечением было сидеть на камне против тюрьмы. Я также играла с деревенскими детьми, рассказывала им священную историю; они меня слушали с восторгом. Однажды утром открывается дверь, и к нам является чиновник, совершенно пьяный, который поздравляет нас с праздником, и подходит христосоваться, по народному обычаю, я ему отвечаю, что в России это не принято, а, между тем, загородившись стулом и влача его за собой, дошла до двери и открыла ее. Вошел мой человек; в это время Каташа разговаривала с этим господином, который оказался почтмейстером. Ефим сказал ему, что у начальника тюрьмы его ждет завтрак; не видя ничего у нас на столе, он ушел. На другой день Каташа отправилась в Большой завод к обедне и зашла к купцу, у которого нам было приказано всегда останавливаться ввиду того, что он был доносчиком Бурнашева. У хозяйки было много гостей, приглашенных к обеду;

она пригласила Каташу к столу; отказаться — значило нанести смертельную обиду, так как гостеприимство было главным качеством сибиряков. Каташа подчинилась и, чтобы скрыть свое смущение, заговорила со своим соседом, который оказался не кем иным, как нашим почтмейстером. Она ему говорит: «Мы старые знакомые, не правда ли?» — «Нисколько, потому что я был у вас в пьяном виде». Каташа, совсем смущенная, разговаривала после этого с хозяйкой дома и тотчас после обеда уехала.

Было запрещено (*в Большом заводе*) не только с нами видаться, но и здороваться с нами; все, кого мы встречали, сворачивали в другую улицу или отворачивались. Наши письма вручались открытыми Бурнашеву, отсылались им в канцелярию коменданта, затем шли в канцелярию гражданского губернатора в Иркутске и, наконец, в Петербург в III отделение канцелярии его величества, так, что они шли бесконечно долгое время, пока доходили до наших родственников.

Ко всем страданиям, которые испытывались нашими заключенными, прибавилось еще новое: на них напали клопы и в таком количестве, что Трубецкой натирал себя скипидаром и то не помогало. Резанов позволил им ночевать на чердаке, что на несколько часов избавляло их от клопов. Когда я возвращалась из тюрьмы, я вытрясала свое платье, так их на мне было много. Для наших это было почти равносильно наказанию, налагаемому в Персии на преступников, которых отдают на съедение насекомым.

Мы получили, наконец, известия от Александрины Муравьевой, которая находилась в Читинском остроге, иначе сказать в Чите — большой деревне, где находились уже ее муж и несколько других заключенных, привезенных, по обыкновению, в почтовой телеге, под конвоем жандармов при фельдъегере. Александрина сообщила нам о прибытии коменданта Лепарского с его свитой и о том, что нас всех переведут в Читку. Для нас была большой радостью мысль, что нас соединят с другими и что мы не будем больше под начальством чиновников горного ведомства. Мы уже укладывались, когда Бурнашев велел о себе доложить: он вошел со своей свитой, все время стоявшей на ногах, и спросил меня, начала ли я готовиться к отъезду; я ему отвечала с довольным видом, что мы уже собрались. «Ну, так не спешите, вы еще не так скоро уедете, дороги ненадежны; каторжники, шедшие из России, взбунтовались и занялись грабежом». Дело было отчасти справедливо: бунт произошел вследствие того, что эти бедные люди были лишены всего необходимого. Бурнашев боялся вовсе не за нас, а за самого себя, воображив, что наши могут присоединиться к этим преступникам. Наконец, через две недели, мы получили разрешение ехать.

ПРИЕЗД В ЧИТУ И ПРЕБЫВАНИЕ ТАМ

Мы купили две телеги, одну для себя, другую под вещи, и поехали. Я с удовольствием возвращалась по этой дороге, окаймленной теперь красивым лесом и чудными цветами. Я опять остановилась у того богатого купца, который так хорошо меня принял.

Наконец, мы приехали в Читку, уставшие, разбитые, и остановились у Александрины Муравьевой. Нарышкина и Ентальцева недавно прибыли из России. Мне сейчас же показали тюрьмы, или острог, уже наполненный заключенными: тюрем было три, вроде казарм, окруженных частоколами, высокими, как мачты. Одна тюрьма была довольно большая, другие — очень маленькие. Александрина жила против одной из последних, в доме казака, который устроил большое окно из находившегося на чердаке слухового отверстия. Александрина повела меня туда и показывала заключенных, называла мне их по именам по мере того, как они выходили в свой огород. Они ходили, кто с трубкой, кто с заступом, кто с книгой. Я никого из них не знала; они казались

спокойными, даже веселыми и были очень опрятно одеты. В числе их были совсем молодые люди, выглядевшие 18-ти — 19-летними, как, например, Фролов и братья Беляевы.

Наши ходили на работу, но так как в окрестностях не было никаких рудников, — настолько плохо было осведомлено наше правительство о топографии России, предполагая, что они есть во всей Сибири, — то комендант придумал для них другие работы: он заставлял их чистить казенные хлева и конюшни, давно заброшенные, как конюшни Авгиевы мифологических времен. Так было еще зимой, задолго до нашего приезда, а когда настало лето, они должны были мести улицы. Мой муж приехал двумя днями позже нас со своими товарищами и с неизбежными их спутниками. Когда улицы были приведены в порядок, комендант придумал для работ ручные мельницы; заключенные должны были смолоть определенное количество муки в день; эта работа, налагаемая как наказание в монастырях, вполне отвечала монастырскому образу их жизни. Так провела большая часть их 15 лет своей юности в заточения, тогда как приговор устанавливал ссылку и каторжные работы, а никак не тюремное заточение.

Мне нужно было искать себе помещение. Нарышкина уже жила с Александриной. Я пригласила к себе Ентальцеву и, втроем с Каташей, мы заняли одну комнату в доме дьякона; она была разделена перегородкой, и Ентальцева взяла меньшую половину для себя одной. Этой прекрасной женщине минуло уже 44 года; она была умна, прочла все, что было написано на русском языке, и ее разговор был приятен. Она была предана душой и сердцем своему угрюмому мужу, бывшему полковнику артиллерии. Каташа была нетребовательна и всем довольствовалась, хотя выросла в Петербурге, в великолепном доме Лавая, где ходила по мраморным плитам, принадлежавшим Нерону, приобретенным ее матерью в Риме, — но она любила светские разговоры, была тонкого и острого ума, имела характер мягкий и приятный.

Заговорив о своих подругах, я должна вам сказать, что к Александрине Муравьевой я была привязана больше всех; у нее было горячее сердце, благородство проявлялось в каждом ее поступке; восторгаясь мужем, она боготворила его и хотела, чтобы мы к нему относились так же. Никита Муравьев был человек холодный, серьезный — человек кабинетный никак не живого дела; вполне уважая его, мы, однако же, не разделяли ее восторженности. Нарышкина, маленькая, очень полная, несколько аффектированная, но, в сущности, вполне достойная женщина; надо было привыкнуть к ее гордому виду, и тогда нельзя было ее не полюбить. Фон-Визина приехала вскоре после того, как мы устроились; у нее было совершенно русское лицо, белое, свежее, с выпуклыми голубыми глазами; она была маленькая, полненькая, при этом — очень болезненная; ее бессонницы сопровождались видениями; она кричала по ночам так, что слышно было на улице. Все это у нее прошло, когда она переехала на поселение, но только осталась мания, оставив на вас глаза, предсказывать вам вашу будущность, однако и эта странность у нее потом прошла. По возвращении в Россию, она лишилась мужа и 53 лет от роду вышла вторично замуж за Пущина, крестного отца моего сына.

Анненкова приехала к нам, нося еще имя м-ль Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30; она кипела жизнью и веселием и умела удивительно выискивать смешные стороны в других. Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление его величества относительно ее свадьбы. С Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но, по возвращении, их опять на него одели. Дамы проводили м-ль Поль в церковь; она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами — Свистуновым и Александром Муравьевым. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни. Когда она подавала просьбу его величеству о разрешении ей ехать в Сибирь, он был на крыльце; садясь в коляску, он спросил ее: «Вы замужем?» — «Нет, государь, но я хочу разделить

участь сосланного». Она осталась преданной женой и нежной матерью; она работала с утра до вечера, сохраняя при этом изящество в одежде и свой обычный говор. На следующий год к нам приехала Давыдова. Она привезла с собой мою девушку Машу, которая умолила моих родителей позволить ей ехать ко мне. Позже прибыли к нам еще три дамы (всего десять), о которых я расскажу в свое время.

Письма из России к нам приходили более аккуратно, а равно и посылки. Я получила «обоз» с провизией; сахар, вино, прованское масло, рис и даже портер; это единственный раз, что я имела это удовольствие; позже я узнала причину невнимания этого рода: мои родные уехали за Границу. Между тем, Каташа, Александрина и Нарышкина получали ежегодно все необходимое, так что всегда имелись вино и крупа для больных. Скоро нам разрешили свидание на дому, и как раз в это время я получила свою провизию; все было распределено между товарищами. Затруднение состояло в передаче вина, строго запрещавшегося в тюрьме. Во время свиданий Сергей клал по две бутылки в карманы и уносил с собой; так как у меня их было всего пятьдесят, то перенесены они были скоро.

В Чите наша жизнь стала сноснее; дамы виделись между собой во время прогулок в окрестностях деревни; мужчины сошлись вновь со своими старыми друзьями. В тюрьме все было общее — вещи, книги; но было очень тесно; между постелями было не более аршина расстояния; звон цепей, шум разговоров и песен были нестерпимы для тех, у кого здоровье начинало слабеть. Тюрьма была темная, с окнами под потолком, как в конюшне. Летом заключенные проводили время на воздухе; каждый из них имел на большом дворе клочок земли, который и обрабатывал; но зимой было невыносимо. В Чите их было 73 человека; вот их имена*.

Так как свидания допускались лишь два раза в неделю, то мы ходили к тюремной ограде — высокому частоколу из толстых, плохо соединенных бревен; таким способом мы видались и разговаривали друг с другом. Первое время это делалось под страхом быть застигнутыми старым комендантом или его несносными адъютантами, бродившими кругом; мы давали на чай часовому, и он нас предупреждал об их приближении. Однажды один солдат горного ведомства счел своим долгом раскричаться на нас и, не довольствуясь этим, ударил Каташу кулаком. Видя это, я побежала к господину Смольянинову, начальнику в деревне, который пригрозил солдату наказанием, и тотчас же написала очень сильное письмо коменданту; последний обиделся и надулся на меня, но с тех пор мы могли, сколько хотели, оставаться у ограды. Каташа там устраивала прием, приносила от себя складной стул, так как была очень полна, и садилась; внутри тюремного двора собирался кружок, и каждый ждал своей очереди для беседы. Наше спокойствие было нарушено появлением фельдъегеря, который приехал, чтобы увезти одного из арестантов в Петербург для нового допроса. Нам необходимо было узнать, кого именно это касалось: каждая из нас боялась за своего мужа. Я пошла гулять по направлению к комендантскому дому и встретила фельдъегеря, который узнал меня, — он меня видал у князя Петра Волконского, — поклонился мне и сказал, проходя мимо, что должен увезти одного из заключенных, но имени он не знает. Тогда я его попросила прийти на другой день, в воскресенье, в церковь и сказать мне. Я встала рано утром, пошла в церковь и от всего сердца молила милосердного Господа, чтобы не увозили моего мужа, слышу шпоры фельдъегеря: он становится за мной и, кладя земной поклон, говорит мне: «Это Корнилович». Я благодарила Бога и осталась до конца обедни, несмотря на нетерпение пойти успокоить мужа, но адъютанты и доносчики коменданта были тут и не спускали с нас глаз. Как только я от них освободилась, я пустилась бежать, чтобы оповестить об этом в трех тюрьмах и наших дам. Это происходило среди зимы, было 40° мороза. Что за ужасный холод, и сколько он унес у меня здоровья!

* в тексте имена не указаны — Прим. ред.

Все же мы не вполне верили словам фельдъегеря, который мне также сказал, что уезжает в ту же ночь. Мы решили не ложиться и распределили между собой для наблюдения все улицы деревни; я выбрала улицу коменданта, так как острог, в котором находился муж, был недалеко от его дома. Холод стоял жестокий; от времени до времени я заходила к Александрине, чтобы проглотить чашку чая; она была в центре наших действий и против тюрьмы своего мужа; у нее все время кипел самовар, чтобы мы могли согреться. Полночь, час ночи, два часа — ничего нового. Наконец, Каташа является и говорит нам, что на почтовой станции движение и выводят лошадей из конюшни. Я бегу к тюрьме мужа, в которой сидел и Корнилович, и вижу, как приближаются офицеры и казаки, которые дают ему приказание укладываться для отправления в Петербург. Я возвращаюсь к Александрине, и мы все становимся за забором. Была чудная лунная ночь; мы стоим молча, в ожидании события. Наконец, мы видим приближающуюся шагом кибитку; подвязанные колокольчики не звенят; офицеры штаба коменданта идут за кибиткой; как только они с нами поравнялись, мы разом вышли вперед и закричали: «Счастливого пути, Корнилович, да сохранит вас Бог!» Это было театральной неожиданностью; конвоировавшие посылаемого не могли прийти в себя от удивления, не понимая, как мы могли узнать об этом отъезде, который ими держался в величайшей тайне. Старик-комендант долго над этим раздумывал.

Корнилович не вернулся. Пройдя через ненужный допрос, он был заключен в одну из крепостей Финляндии, где и умер несколько лет спустя. Это был человек твердого характера, и уже, конечно, не путем всевозможных унижений и нравственных страданий можно было надеяться получить от него точные сведения о деле, приводившем в ужас императора Николая до конца его дней.

Один за другим приезжали и остальные изгнанники и размещались по тюрьмам. Привезли и двух поляков, из которых один, Рукевич, нас забавлял своими сарматскими выходками. Едва он успел войти в острог против дома Александрины, как стал у ограды и с сентиментальным видом и сильным польским акцентом запел старый французский романс: «В стенах мрачной башни молодой король тоскует». Он не был ни молод, ни красив, ни привлекателен; эта претензия на французский романс, при незнании языка, нас очень позабавила.

Некоторые из заключенных, которым пришел срок, были отправлены на поселение, то есть освобождены от работ и рассеяны по всей Сибири: Лихарев, граф Чернышев (брат Александрины), Лисовский, Кривцов и другие. Я должна была расстаться с бедной Ентальцевой, которая уехала в Березов, маленький и самый северный город Тобольской губернии. Прощание Александрины с братом было раздирающее; они больше не свиделись. Год или два спустя, Чернышев был переведен солдатом на Кавказ. Мы занимались одеждой уезжавших; без нас некому было снабдить их бельем и платьем. Комендант дал им разрешение проститься с дамами.

1829 г.

1-го августа 1829 года пришла великая новость: фельдъегерь привез повеление снять с заключенных кандалы. Мы так привыкли к звуку цепей, что я даже с некоторым удовольствием прислушивалась к нему: он меня уведомлял о приближении Сергея при наших встречах.

Первое время нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет, затем я себе говорила, что будет через 10, потом через 15 лет, но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у Бога только одного: чтобы он вывел из Сибири моих детей.

В Чите я получила известие о смерти моего бедного Николая, моего первенца, оставленного мною в Петербурге. Пушкин прислал мне эпитафию на него:

В сияньи, в радостном покое,
У трона Вечного Отца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца...

Через год я узнала о смерти моего отца. Я так мало этого ожидала, потрясение было до того сильно, что мне показалось, что небо на меня обрушилось; я заболела, комендант разрешил Вольфу, доктору и товарищу моего мужа, навещать меня под конвоем солдат и офицера.

В это время прошел слух, что комендант строит в 600 верстах от нас громадную тюрьму с отделениями без окон; это нас очень огорчало. Я забыла сказать вам, что нас встревожило еще более: за год перед тем через Читку прошли каторжники; с ними было трое наших ссыльных: Сухинин, барон Соловьев, и Мозгалевский. Все трое принадлежали к Черниговскому полку и были товарищами покойного Сергея Муравьева; они прошли пешком весь путь до Сибири вместе с обыкновенными преступниками. Они известили нас о своем прибытии; муж велел мне к ним пойти, оказать им помощь, постараться успокоить Сухинина, который был очень возбужден, и внушить ему терпение. Острог, где останавливались каторжники, находился за деревней, в трех верстах от моего помещения. Я разбудила Каташу и Ентальцеву на заре, и мы отправились, конечно пешком, в страшный холод; сделав большой крюк, чтобы избежать часовых, мы дошли до острога. Когда мы приблизились к ограде, эти господа уже стояли там и нас ожидали; было еще довольно темно. Сухинин был в таком возбужденном состоянии, что и слушать нас не хотел; он говорил только о том, что надо поднять каторжных в Нерчинске, вернуться в Читку и освободить государственных преступников. Соловьев, очень спокойного характера, очень терпеливый, сказал мне, что это лишь временное возбуждение, что он успокоится. Наконец, я ушла, грустная и встревоженная. Сухинин, как только прибыл в Нерчинский Завод, стал остерегаться своих товарищей, отстранился от них и отдался в руки местных каторжников; они вооружились чем попало и, в числе 200 человек, отступили к китайской границе; и тут плохой расчет, так как китайцы всегда выдают русскому правительству беглецов, которые им себя вверяют; но наши несчастные безумцы не подверглись и этому: они все были перехвачены казаками, охранявшими границу, и заперты. Отправлен был курьер к его величеству, привезший повеление судить их в 24 часа и расстрелять наиболее виновных. Наш комендант отправился в рудники и исполнил в точности, что ему было повелено. Сухинин узнал о приговоре над ним накануне дня, назначенного для его казни, и когда вошли в его тюрьму, то нашли его мертвым: он повесился на балке, подпиравшей потолок, и ремень, который поддерживал его кандалы, послужил ему веревкою. Все остальные приговоренные были выведены за деревню и, в числе 20 человек, преданы смерти, но каким образом! Солдатам скомандовали стрелять, но их ружья были стары и заржавлены, а сами они, не умея целиться, давали промахи и попадали то в руку, то в ногу; словом — это было настоящее истязание. На другой день комендант велел похоронить умерших, и, когда все удалились, он преклонился перед каждой могилой, прося прощения. Мы узнали все эти подробности от Соловьева и Мозгалевского, которых к нам перевели. Это навело на нас глубокую тоску. Комендант вернулся мрачный и беспокойный: он видел перед собой только побег и пожары и спешил с окончанием постройки Петровской тюрьмы.

Александрина, получавшая тайком много денег от свекрови, то через посылаемого к ней слугу, то другим каким-либо путем выстроила себе дом вблизи этой тюрьмы; постройка эта, при помощи богатого подарка, была произведена тем же инженером, который строил и самую тюрьму. Так как нам с Каташей едва хватало средств

на жизнь, то мы и не помышляли о доме; в таком же положении находились и другие дамы.

Чтобы дать вам понятие о простоте нравов того времени и отвлечь на минуту ваше внимание от рассказанного сейчас мною трагического происшествия, опишу вам прогулку, сделанную Нарышкиной и Ентальцевой, еще задолго до отъезда последней в Березов.

Они вместе вышли за деревню и, незаметным образом, пройдя большое расстояние, с трудом достигли берега реки, отделявшей их от деревни; но моста на этом месте не было, — как переправиться? Воды было немного, но все же по пояс. Они увидели местного священника, отбиравшегося сесть в душегубку, и попросили его перевезти их; невозможно: душегубка так мала, что нельзя в ней поместиться втроем. Ентальцева не хотела оставаться одна; тогда священник предложил им сесть вдвоем, а сам, засучив свое нижнее платье, да так удачно, что напомнил Геркулеса с драпировкой на чреслах, вошел в воду и стал толкать перед собой лодку; все это произошло так быстро, что наши обе дамы едва успели отвести глаза в сторону.

Петровская тюрьма была достроена; комендант приказал заключенным готовиться к отъезду. Это перемещение совершилось пешком в августе месяце; делали по 30 верст в день и на другой день отдыхали то в деревне, то у бурят, в юртах. Александрина и две другие дамы уехали вперед. Нарышкина, Фон-Визина и я ехали следом в нескольких часах расстояния. В 6 верстах от города Верхнеудинска сделали привал. Вблизи этого города баронесса Розен встретила своего мужа. Это была отличная женщина, несколько методичная. Она осталась с нами в Петровске всего год и уехала с мужем на поселение в Тобольскую губернию. В это же время прибыла и Юшневская. Уже пожилая, она ехала от Москвы целых шесть месяцев, повсюду останавливаясь, находя знакомых в каждом городе; в ее честь давались вечера, устраивались катания на лодках; наконец, повеселившись в дороге и узнав, что баронесса Розен уже в Верхнеудинске, она наняла почтовую карету, как молния, пролетела вдоль нашего каравана и остановилась у крестьянской избы, в которой ждал ее муж. Ей было 44 года; совсем седая, она сохранила веселость своей первой молодости.

Мы вновь пустились в дорогу. На последней станции, не доезжая Петровска, мы застали коменданта; он передал нам письма из России и газеты. Здесь мы узнали об Июльской революции. Всю ночь то и дело раздавались среди наших песни и крики ура, часовые были в недоумении — как могли они забавляться пением, приближаясь к каземату. Дело в том, что эти люди ничего не понимали в политике.

ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД

Подъезжая к Петровску, я увидела громадную тюрьму в форме подковы, под красною крышей. Она казалась мрачной: ни одного окна не выходило наружу; нас, значит, не обманули, сказав, что тюрьма была без окон. Я забыла вам передать, что из Читы все дамы писали графу Бенкендорфу (шефу жандармов), прося разрешения жить в тюрьме; нам это было дозволено. Так как дом Александрины был готов, то она поселилась в нем вне каземата, но все остальные дамы провели несколько дней в номерах своих мужей. Я купила крестьянскую избушку для моей девушки и для человека; я ходила туда переодеваться и брать ванну, и доставляла себе *удовольствие* проводить ночь за тюремными затворами. Уверяю вас, что слышать шум замков было очень страшно. Только год спустя семейным сосланным было разрешено жить вне тюрьмы. Самое нестерпимое в каземате было отсутствие окон. У нас весь день горел огонь, что утомляло зрение. Каждая из нас устроила *свою тюрьму*, по возможности,

лучше; в нашем номере я обтянула стены шелковой материей (мои бывшие занавеси, присланные из Петербурга). У меня было пианино, шкаф с книгами, два диванчика, словом, было почти что нарядно. Мы все писали графу Бенкендорфу, прося его разрешения сделать в каземате окна; разрешение было дано, но наш старый комендант, более трусливый, чем когда-либо, придумал пробить их высоко, под самым потолком. Мы жили уже в своих домах, когда получилось это разрешение. Наши заключенные устроили подмости к окнам, чтобы иметь возможность читать.

Наш дамский кружок увеличился с приездом Камиллы Ле Дантю, помолвленной за Ивашева; она была дочь гувернантки, жившей в их доме; жених знал ее еще в отроческом возрасте. Это было прелестное создание во всех отношениях, и жениться на ней было большим счастьем для Ивашева. Свадьба состоялась при менее мрачных обстоятельствах, чем свадьба Анненковой: не было больше кандалов на ногах, жених вошел торжественно со своими шаферами (хотя и в сопровождении солдат без оружия). Я была посаженной матерью молодой четы; все наши дамы проводили их в церковь. Мы пили чай у молодых и на другой день у них обедали. Словом, мы начали мало-помалу возвращаться к обычному порядку жизни; на кухне мы больше не работали, имея для этого наемных людей, но солдат всегда был налицо и сопровождал повсюду заключенного, дабы тот не забывал своего положения. То же было и со всеми женатыми.

В этом, 1832, году ты явился на свет, мой обожаемый Миша, на радость, и счастье твоих родителей. Я была твоей кормилицей, твоей нянькой и, частью, твоей учительницей, и, когда несколько лет спустя, Бог даровал нам Нелли, твою сестру, мое счастье было полное. Я жила только для вас, я почти не ходила к своим подругам. Моя любовь к вам обоим была безумная, ежеминутная.

Шесть месяцев после твоего рождения заболела Александрина Муравьева. Вольф не выходил из ее комнаты; он сделал все, чтобы спасти ее, но Господь судил иначе. Ее последние минуты были величественны: она продиктовала прощальные письма к родным и, не желая будить свою четырехлетнюю дочь «Нонушку», спросила ее куклу, которую и поцеловала вместо нее. Исполнив свой христианский долг, как святая, занялась исключительно своим мужем, утешая и ободряя его. Она умерла на своем посту, и эта смерть повергла нас в глубокое уныние и горе. Каждая спрашивала себя: «Что станет с моими детьми после меня?»

Так начался в Петровске длинный ряд годов без всякой перемены в нашей участи. Те из заключенных, которым срок кончался, уезжали, унося с собой сожаление тех, которые оставались. Некоторые из дам также уехали — Фон-Визина, Розен, Нарышкина и Ивашева. Последняя тоже скончалась на поселении и еще очень молодая; муж скоро последовал за нею, и ее мать, приехавшая к ним для свидания, увезла их сирот в Россию.

Заключенные, вне часов, назначенных для казенных работ, проводили время в научных занятиях, чтении, рисовании. Н. Бестужев составил собрание портретов своих товарищей; он занимался механикой, делал часы и кольца; скоро каждая из нас носила кольцо из железа мужниных кандалов. Торсон делал модели мельниц и молотилок; другие занимались столярным мастерством, посылали нам рабочие столики и чайные ящички. Князь Одоевский занимался поэзией; он писал прелестные стихи и, между прочим, написал и следующие в воспоминание того, как мы приходили к *ограде*, принося заключенным письма и известия:

Был край, слезам и скорби посвященный, —
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе там рожденный,
Не услаждал страдальческих очей,
Где душен был и воздух, вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал,

И весь обзор обширный и прекрасный
Мучительно на волю вызывал.

* * *

Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены,
И вестники благие Провиденья
Явились, как дочери земли,
И узникам с улыбкой утешенья
Любовь и мир душевный принесли.

* * *

И каждый день садились у ограды,
И сквозь нее небесные уста
По капле им точили мед отрады.
С тех пор лились в темнице дни, лета,
В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного, —
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,
Не сбросили б покровы своего.

Бедный Одоевский, по окончании срока каторжных работ, уехал на поселение близ г. Иркутска; затем его отец выхлопотал, в виде милости, перевод его солдатом на Кавказ, где он вскоре и умер в экспедиции против черкесов.

Каземат понемногу пустел; заключенных увозили, по наступлении срока каждого, и расселяли по обширной Сибири. Эта жизнь без семьи, без друзей, без всякого общества была тяжелее их первоначального заключения.

Наконец, настала и наша очередь. Вольф, Никита и Александр Муравьевы и мы выехали одни за другими, чтобы не остаться без лошадей на станциях. Муж заранее просил, чтоб его поселили вместе с Вольфом, доктором и старым его товарищем по службе; я этим очень дорожила, желая пользоваться советами этого прекрасного врача для своих детей; о месте же, куда нас забросит судьба, мы несколько не беспокоились. Господь был милостив к нам и дозволил, чтобы нас поселили в окрестях Иркутска, столицы Восточной Сибири, в Урике, селе довольно унылом, но со сносным климатом, мне же все казалось хорошо, лишь бы иметь для моих детей медицинскую помощь на случай надобности.

В той же деревне был поселен Михаил Лунин, старый товарищ моего мужа. Не найдя для нас подходящей крестьянской избы, — все лучшие были заняты другими из наших поселенцев, — мы переехали за 8 верст оттуда к моему свойственнику Поджио, которого привезли за год перед тем из Шлиссельбургской крепости; он нас принял с распростертыми объятьями и был тем более счастлив нашему приезду, что прошел через восемь с половиной лет одиночного заключения в этой ужасной крепости. За эти годы он видел только своего тюремщика да изредка коменданта. Его оставляли в полном неведении всего, что происходило за стенами тюрьмы, его никогда не выпускали на воздух, и, когда он спрашивал у часового: «Какой у нас день?», ему отвечали: «Не могу знать». Таким образом, он не слышал о Польском восстании, Июльской революции, о войнах с Персией, Турцией, ни даже о холере; его часовой умер от нее у двери, а он ничего не подозревал об эпидемии. Однажды вечером он увидел свет, падавший от луны на наружную стену крепости; ему захотелось полюбоваться им, он влез к окну и с большим трудом просунул голову в маленькую форточку, довольный возможностью подышать свежим воздухом и полюбоваться на звездное небо. Вдруг

он слышит шаги в коридоре; боясь, чтобы его не застали в этом положении, он хочет вытащить голову обратно, но уши мешают ему; наконец, после долгих стараний и сильно исцарапанный, он добился своего и с тех пор не делал больше подобных попыток. Сырость в его тюрьме была такова, что все его платье пропитывалось ею; табак покрывался плесенью; его здоровье настолько пострадало, что у него выпали все зубы. Но он, по крайней мере, оставался в заключении только 8 лет, тогда как бедный Батенков просидел в крепости более двадцати, не видя никого, даже коменданта. Он потерял способность говорить, и, чтобы не лишиться рассудка, читал и перечитывал Библию, поставив себе задачей переводить ее мысленно на разные языки: сначала на русский, на следующий год на французский, затем на латинский. По выходе из заключения он оказался совсем разучившимся говорить: нельзя было ничего разобрать из того, что он хотел сказать; даже письма его были непонятны. Способность выражаться вернулась у него мало-помалу. При всем этом он сохранил свое спокойствие, светлое настроение и неисчерпаемую доброту; прибавьте сюда силу воли, которую вы в нем знаете, и вы поймете цену этого замечательного человека.

Наша *свобода* на поселении ограничивалась, для мужчин — правом гулять и охотиться в окрестностях, а дамы могли ездить в город для своих покупок. Наши средства были еще более стеснены, чем в каземате. В Петровске я получала десять тысяч рублей ассигнациями, тогда как в Урике мне выдавали всего две тысячи. Наши родные, чтобы восполнить это уменьшение, присылали нам сахар, чай, кофе и всякого рода провизию, как равно и одежду.

Никита Муравьев проводил время в занятиях и чтении. Его мать понемногу переслала ему его библиотеку, воспитание дочери было его самым любимым занятием.

Лунин вел жизнь уединенную; будучи страстным охотником, он проводил время в лесах, и только зимой жил более оседло. Он много писал и забавлялся тем, что смеялся над правительством в письмах к своей сестре. Наконец, он сделал заметки на приговоре над участниками Польской революции. Дело обнаружилось, и вот однажды, в полночь, его дом оцепляется двенадцатью жандармами, и несколько чиновников входят, чтобы его арестовать; застав его крепко спящим, они не поцеремонились разбудить его, но смутились при виде нескольких ружей и пистолетов, висевших на стене; один из них высказал свой испуг; тогда Лунин, обратившись к стоявшему около него жандарму сказал: «Не беспокойтесь, таких людей бьют, а не убивают». Ему принадлежит также следующая выходка. Во время его первоначального заключения в крепости, в Финляндии, генерал-губернатор Закревский, посетив тюрьму по служебной обязанности спросил его: «Есть ли у вас все необходимое?» Тюрьма была ужасная: дождь протекал сквозь потолок, так плоха были крыша. Лунин ответил ему, улыбаясь: «Я вполне доволен всем, мне не достает только зонтика».

Лунин был увезен всей этой военной стражей, вооруженной против одного человека, и заключен в Акатуе, самой ужасной тюрьме, где содержались преступники-рецидивисты, совершившие убийства и грабежи. Он не долго мог выносить зараженный и сырой воздух этого последнего заключения и умер в нем через четыре года. Это был человек твердой воли, замечательного ума, всегда веселый, бесконечно добрый и глубоко верующий. Его переселение нас очень огорчило. Я ему переслала несколько книг, питательного шоколада для его больной груди и, под видом лекарства, чернил в порошке с несколькими стальными перьями, так как у него все отняли при строжайшем запрещении писать и читать что бы то ни было, кроме Библии.

Я забыла вам сказать, что мы уже давно переселились в Урик, где постройка нашего дома продолжалась всего несколько месяцев. К нам приезжали из города, чтобы посоветоваться с доктором Вольфом, и делали это тем охотнее, что он не хотел принимать никакого вознаграждения.

Вскоре мы были страшно напуганы предположением, что у нас отнимут наших детей, по повелению его величества. Генерал-губернатор Руперт вызвал однажды к себе моего мужа, Никиту Муравьева, Трубецкого, жившего в деревне в 30 верстах от нас, и тех из их товарищей, которые были женаты. Я сейчас поняла, что дело шло о наших детях. Эти господа отправились, и невозможно передать, какие я перенесла томления и муки, пока они не вернулись. Наконец, я увидела, что они возвращаются; муж, выходя из экипажа, сказал мне: «Ты угадала, дело касается детей; их хотят увезти в Россию, лишить их имени и поместить в казенные учебные заведения». — «Но приказано ли взять их силою?» — «Нет, государь только предлагает это матерям». Услышав эти слова, я успокоилась, мир и радость опять наполнили мое сердце. Я вас схватила и стала душить в моих объятьях, покрывая вас поцелуями и говоря вам: «Нет, вы меня не оставите, вы не отречетесь от имени вашего отца». Все же отец колебался в своем отказе, говоря, что не имеет права мешать вашему возвращению в Россию, но это был лишь порыв чрезмерного чувства долга по отношению к вам. Он сдался на мои просьбы и на мой довод, что, против того, вы можете когда-нибудь упрекнуть родителей в том, что они лишили вас вашего имени без вашего на то согласия. Словом, настало вновь общее спокойствие, так как и товарищи Сергея послали свой отказ генерал-губернатору. Этот недобрый человек, думая только, как бы выказать свою служебную ровность, донес его величеству, что государственные преступники до того будто закончили в своих преступлениях, что, вместо благодарности его величеству за отеческое предложение, отнеслись к нему с пренебрежением. Между тем, мы выразили свой отказ самым вежливым образом, так как действительно доброе чувство побудило государя предложить нам воспитать наших детей на его счет, хотя он и поставил при этом условие, сообразное с его личным взглядом на вещи.

Пять лет спустя моему Мише исполнилось 12 лет. За это время я обставляла его всем, что только могло служить его образованию. Между прочим, в доме был господин Сабинский, сосланный поляк, отлично владевший французским языком и отдававший Мише все свое время без малейшего вознаграждения. Я просила разрешения переехать в Иркутск, дабы сын мог пройти курс гимназического образования. Граф Орлов испросил на это разрешение, и я поселилась в городе. Мужу было дозволено посещать нас два раза в неделю, а несколько месяцев спустя и совсем туда переехать.

Другие ссыльные получили то же разрешение, по крайней мере те из них, которые были поселены в окрестностях Иркутска. Таким образом, протекло еще 19 лет, из которых последние восемь никогда не изгладятся из моего благодарного сердца; за это время генерал-губернатором был уже не Руперт, а Николай Николаевич Муравьев, честнейший и одареннейший человек. Это он открыл для России Тихий океан в то время, когда французы и англичане лишали ее Черного моря. К нам он относился так же безупречно, как и его достойная и добрая жена. В тебе Миша, он развил душевные способности для служения твоего и направил тебя на пути терпения и умственной работы.

В год коронации императора Александра II нас всех вернули, но увы! из 121 члена Тайного общества осталось всего от 12 до 15 человек; остальные умерли или были убиты на Кавказе. Отец ваш, как вы знаете, по возвращении на родину, был принят радушно, а некоторыми — даже восторженно.

Бедная Каташа умерла за год перед тем; о ней глубоко сожалели ее дети, друзья, и все те, кому она делала добро.

Ваш отец, великодушнейший из людей, никогда не питал чувства злопамятства к императору Николаю, напротив того, он отдавал должное его хорошим качествам, стойкости его характера и хладнокровию, выказанному им во многих случаях жизни; он прибавлял, что и во всяком другом государстве его постигло бы строгое наказание. На это я ему отвечала, что оно было бы не в той же степени, так как не приговаривают

человека к каторжным работам, к одиночному заключению и не оставляют в тридцатилетней ссылке лишь за его политические убеждения и за то, что он был членом Тайного общества; ибо ни в каком восстании ваш отец не принимал участия, а если в их совещаниях и говорилось о политическом перевороте, то все же не следовало относиться к словам, как к фактам. В настоящее время не то еще говорится во всех углах Петербурга и Москвы, а, между тем, никого из-за этого не подвергают заключению. И если бы я смела высказать свое мнение о событии 14 декабря и о возмущении полка Сергея Муравьева, то сказала бы, что все это было несвоевременно: нельзя поднимать знамя свободы, не имея еще за собой сочувствия ни войска, ни народа, который ничего еще не понимает, — и грядущие времена отнесутся к этим двум возмущениям не иначе, как к двум единичным событиям.